# В.А. Викторова

# «ВИДИМАЯ СТОРОНА ЖИЗНИ» ЕЛЕНЫ ШВАРЦ

Елена Шварц не входила ни в одну из литературных групп, хотя поддерживала творческие отношения и с Хеленуктами, и с авторами круга «37», и с другими в чем-то близкими ей андеграундными писателями, в том числе эмигрировавшими. Преимущественное внимание она проявила к проблемам духовного бытия, оспаривая церковный канон как дискриминационный по отношению к женщине и разделяющий верующих разных конфессий, со все большей определенностью склоняясь с годами к теософии и экуменизму. Но возрождаемую традицию метареализма, восходящую к предсимволизму и символизму, поэтесса скрестила с футуристическо-обэриутской, главным образом, в области формы, тяготея «к сложной и изысканной полиметрии. <…> Напряженно-личностное мировосприятие, ощущение бытия как мистерии, трагическое, «дионисийское» представление о сущности поэтического творчества» у Е. Шварц «сочетаются с гротескной театрализацией реальности» [2, с. 366]. Об этом свидетельствуют книги поэтессы «Танцующий Давид» (1985), «Труды и дни Лавинии, монахини из Ордена обрезания сердец» (1987), «Стороны света» (1989), «Лоция ночи» (1993), «Песня птицы на дне морском» (1995), «Mundus imaginalis» (1996), «Эзро», «Утконос» (1996), «Западно-восточный ветер» (1997), «Определение в дурную погоду» (1997), «Соло на раскаленной трубе» (1998), «Стихотворения и поэмы» (1999), «Дикопись последнего времени» (2001) и др.

Характеризующие Е. Шварц (например, М. Берг [3]) отмечают как присущий ей талант, утонченный интеллектуализм, так и подчеркнутую эксцентричность поведения, сумасбродство, склонность к театрализованным скандалам. О том, как складывался такой необычный характер, сама Е. Шварц повествует в воспоминаниях «Видимая сторона жизни» (2000), где есть автобиографический очерк. Заглавие воспоминаний акцентирует то обстоятельство, что это не исповедь души, отражающая внутренние переживания, духовные искания и прозрения, а воспроизведение реальных фактов биографии, запечатленных в памяти и подаваемых как значимые для развития личности будущей поэтессы.

Воспоминания разбиты на фрагменты, формально не отделенные друг от друга, но имеющие собственные названия. Каждый фрагмент соответствует определенному возрасту автора и содержит какую-то сценку из жизни, сопровождающуюся пояснениями. Повествуя о себе-девочке, Е. Шварц имитирует детскую психологию, инфантилизм и передает ощущение хрупкости ребенка перед миром, в котором петух может до смерти напугать и обратить в бегство. Не отказывается Е. Шварц и от юмора, воссоздавая, например, ситуацию, когда в круглосуточном детском саду заболели какой-то инфекционной болезнью все, кроме нее, и ее отделили от остальных, заключив в изолятор.

«Только нянечка приносила еду, больше ни слова, ни взгляда. Годовой комплект «Мурзилки» разделял мое одиночество. Тем, больным было, небось, весело! За что я страдаю, почему я не как все. Плакала горько.

И никто меня не навещал, дома не знали о моем заключении в одиночку» [4], – используя «тюремные» обороты (вряд ли известные двухлетней девочке) рассказывает Е. Шварц. Она вроде бы и подшучивает над неадекватной реакцией ребенка, которого вовсе не наказывают, а оберегают от заболевания, но в то же время (через «тюремные» уподобления) приближает к испытываемому им стрессовому состоянию.

Повышенная впечатлительность и ранимость, присущая Ленедевочке, проступает и из других эпизодов воспоминаний. Скажем, в двух-трехлетнем возрасте оказавшись на спектакле «Аленький цветочек» Театра Ленинского комсомола, она «тихо и с наслаждением следила за всем происходившим на сцене, но только до того момента, когда Цветок вдруг превратился в Чудовище» [4]. От ужаса девочка заорала на весь зал, пришлось ее вынести на руках из ложи, и спектакль так и остался недосмотренным.

Вообще, как видно из текста, больше запомнились Е. Шварц переживания чего-то пугающего, травмирующего психику, на что другой ребенок, быть может, так остро не прореагировал бы. Не исключено, что свой отпечаток наложила (даже и генетически) семейная драма: отец матери (дедушка Лены) был расстрелян в 1937 г., бабушка 10 лет провела в ссылке, их детей (мать Лены и ее сестер) удочерила и воспитывала бывшая в доме няня. Да и смерть вернувшейся, наконец, бабушки тоже тяжело подействовала на внучку. Многого она, конечно, не понимала, но какое-то неблагополучие, носившееся в воздухе, уловить могла.

Не скрывает Е. Шварц и присущих ей в детстве странностей поведения, отстаиваемых с необъяснимым упрямством. Например, таких:

«В раннем детстве я часто посреди улицы вдруг отказывалась идти дальше и ложилась прямо на снег. Сколько мама ни уговаривала встать, я не соглашалась и молча, с детской вредностью, лежала, пока она уже в слезах не начинала катить меня ногой, как тяжелое полено, и так на большие расстояния. Я оказывалась лицом то к грязному снегу, то к небу. Прохожие журили меня» [4].

Капризы, плохое поведение детей (как установлено психологами) нередко порождены стремлением привлечь к себе внимание. И маленькой Лене его явно не хватало со стороны матери, вечно занятой на работе и периодически уезжавшей в командировки. Однако сопровождались «выламывания» своеобразными публичными спектаклями, в которых девочка выступала в роли несчастной жертвы, обнаруживая и недюжинную фантазию, и актерские способности. Можно сказать, юродствуя, она заставляла с собою считаться.

И уже Лену-школьницу мать с трудом поднимала с постели, чтобы та успела хотя бы ко второму уроку, как маленькую, одевая ее еще лежащую в кровати, а та продолжала видеть сны и ни на что не реагировать.

Спустя годы в своем детском непомерном упрямстве, даже во вред себе самой, Е. Шварц прозревает отцовские корни: украинскоказацкие, в смешении с татарскими. Е. Шварц нравится думать, что в числе ее предков со стороны отца был брат крымского хана Джеджалий (потомки которого обукраинились), а со стороны бабушкиеврейки кто знает, может быть, царь Давид. Во всяком случае, такая родословная, восходящая к «первым лицам», ее бы устраивала. Гипотезы Е. Шварц воспринимаются как форма психологической компенсации человека из семьи репрессированных, значит, париев. Недостающее и в некоторых других случаях Е. Шварц заменяет фантазией. Тем не менее, заглядывая далеко в прошлое, она строит достаточно резонное предположение о том, что одна ветвь ее предков (украинско-татарская) подвергала гонениям другую (еврейскую), чем особенно отличался Б. Хмельницкий, уничтожавший евреев огнем и мечом. «Наверно, и моя противоречивость внутренняя и желание спорить со всеми и с собой имеют генетическую основу» [4], – приходит к выводу поэтесса, выявляя, может быть, самую главную черту своего характера.

Вместе с тем собственные детство и юность в изображении Е. Шварц предстают достаточно безоблачными, даже счастливыми, чему соответствует отнюдь не резкая и не язвительная, напротив, мягкая, с оттенком нежности манера повествования. Об этом времени поэтесса вспоминает любовно, ибо жизнь была к ней благосклонна и преподносила сюрприз за сюрпризом.

Хотя девочка росла без отца (роман родителей не увенчался браком), благодаря матери – завлиту ленинградского БДТ в 1940 – 1970-е гг. – Лена рано попала в особый, волшебный и прекрасный мир – мир театра (узнаем мы из воспоминаний). Он стал для нее главной реальностью, по сравнению с которой повседневная действительность сильно проигрывала и оказалась отодвинутой в сторону. Репетиции, прогоны, премьеры, гастроли, возможность чуть ли не ежевечерне перемещаться в иное измерение бытия, получать новые впечатления, испытывать сильные эмоциональные переживания – все это завораживало, делало жизнь очень интересной, яркой, праздничной. И ждала здесь Лену встреча с талантами.

«В одиннадцатилетнем возрасте мама меня осчастливила – взяла с собой на гастроли. <…> Мир расширился до беспредельности, в нем оказались чужие города, море и театр. БДТ тогда был в расцвете, на гастролях в Тбилиси шел «Идиот» со Смоктуновским. Это было ошеломительное театральное впечатление в моей жизни, равносильное более позднему потрясению от Кабуки. Впервые познакомилась с гением. Он был похож на гения. Светился, и как будто еще кто-то был не то за ним, не то над ним» [4], – рассказывает Е. Шварц, каковую поразил и сам Тбилиси с его грузинским колоритом, хотя вызывал отторжение бюст Сталина в гостинице (в пострадавшей от Сталина семье Е. Шварц, нетрудно догадаться, жили настроениями его осуждения). Но вообще политической стороны жизни Е. Шварц почти не касается, подчеркивая тем самым, что жила в «параллельном» текущей реальности мире, и иного для нее как бы не существовало. Зато не обходит она описания ошеломленности, какое вызвала у девочки-подростка встреча с морем во время гастролей в Сочи: «Оно поразило меня смертельно. Увидев его впервые рядом, я стояла, открыв рот от удивления, а актеры, нежившиеся в волнах, хохотали надо мной – такая степень изумления была написана у меня на лице» [4]. В этой сцене опять-таки проступает повышенная впечатлительность будущей поэтессы, ее способность остро реагировать на бездонно-прекрасное.

С тех лет, признается Е. Шварц, в ней укоренилось убеждение, что лучшее в жизни – это путешествие, причем связанное с гастролями, с игрой «для других». Тут соединяется праздник для себя и праздник для пришедших на спектакль, происходит единение просветляемых душ. Перемещаясь из прошлого в будущее (что является в воспоминаниях сквозным приемом), автор относит к особого рода гастролям свои поездки «по всему миру на разные поэтические фестивали» [4] и выступления перед читателями. В каком-то смысле для Е. Шварц ее публичные выступления стали «театром поэта»: были объемной формой преподнесения написанного в его отелесненно-живом, насыщенном эмоциями виде (*здесь* и *сейчас*). Так что можно сказать, что подростковая мечта Лены осуществилась, причем в наиболее устраивающем Е. Шварц варианте. Нетрудно догадаться, что театр подтолкнул ее к жизнетворчеству.

Довелось Лене испробовать себя и в качестве актрисы.

Чуткий «притеатральный ребенок» был замечен руководителем театра – Г. Товстоноговым и привлечен для замены отсутствовавшей исполнительницы роли Девочки с булкой в «Иркутской истории» А. Арбузова во время гастролей в Киеве. И спустя годы Е. Шварц отчетливо помнит переполнявший ее тогда ужас перед выходом на сцену и пребывание в некой прострации во время нахождения на ней, так что свои две фразы она произнесла еле слышно. Не скрывает автор и комического конфуза, возникшего изза чрезмерного волнения Лены: булку она умудрилась уронить, та, будучи неоднократно использованной и совершенно черствой рассыпалась на части, каковые Валька-Доронина под смех зала начала подбирать.[[1]](#footnote-1) Вдобавок ко всему после спектакля девочка чувствовала себя совершенно опустошенной, столько душевных сил вложила в исполнение. Подобное состояние, исповедуется Е. Шварц, она испытывает и после своих поэтических чтений – значит, выкладывается полностью. Но на профессиональной сцене больше выступать Лена не хотела – что-то ей подсказывало, что она рождена для другого. Это не означало отталкивания от театра, напротив, подраставшая Е. Шварц, а позднее Е. Шварц-девушка не представляла без него своего существования.

«Прогоны.

Сколько их было, господи, этих прогонов, последних перед премьерой спектаклей. Я ходила на них, сначала сбегая из школы, потом из института, потом уже просто ходила. <…>

Больше всего я любила минуты перед подъемом занавеса. Он слегка мерцал таинственной полусиневой-полуголубизной, складки бродили по нему легкой волной. В зале переговаривались еще, перешептывались, шуршали программками. Я поднимала глаза и видела в директорской ложе маму и Георгия Александровича Товстоногова, он потом, как правило, исчезал, а мама оставалась, не садилась, а стояла. Она следила, как кто реагирует» [4], – все это отчетливо сохранилось в памяти поэтессы. Свою реакцию она описывает как сдержанную во внешнем проявлении, но не скрывает, что временами не могла удержаться и плакала от восторга, а на прогоне спектакля «Мой городок» Т. Уайдлера просто рыдала навзрыд, зажимая рот руками. «Братья Карамазовы» (по Ф. Достоевскому) Е. Шварц сначала «прожила» вместе с исполнителями и лишь потом прочитала как нечто уже «свое», родное.

По всему видно, что Е. Шварц нуждалась в сильных эмоциях, и в театре она их получала, хотя одно время была и заядлой футбольной болельщицей, по-видимому, неосознанно воспринимая происходящее на футбольном поле и трибунах как род довольно бурного спектакля.

Фрагмент «Ключ» проливает свет на открытие Е. Шварц в себе поэтического дара, потребности писать стихи:

«Однажды, придя из школы домой, я шла по коридору в наши комнаты, задумчиво потряхивая дверным ключом, и вдруг от его позвякиванья и в такт ему стали появляться слова. Я вошла в комнату, легла на кровать, прямо в школьной форме (коричневое платье, черный фартук), и стала прислушиваться к словам, всплывающим изнутри, и стучать ключом, отбивая ритм по железным столбикам кровати, увенчанным стальными шарами» [4]. Возникает цепочка: звук – ритм – слова, появляющиеся из вслушивания в себя. И, как во многих других случаях, Е. Шварц переводит конкретное в обобщающее заключение:

«И всю свою последующую жизнь я провела в этом состоянии – ожидания звенящих слов» [4].

Ранние стихи Е. Шварц, по ее собственному определению, были дикими и нелепыми. Сверстники над ними смеялись, но Лену поддерживала руководительница кружка юных прозаиков при Дворце пионеров, признав в ней поэта.

Юная Е. Шварц отстаивала свою репутацию «независимого и свободного от предрассудков существа» [4], но на деле в ней еще было немало наивно-девчоночьего. Попав на домашние чтения Е. Рейна, где звучали откровенно эротические стихи, Лена воспринимала происходящее как род распутинского сеанса, отчаянно краснела. Синхронно с ней краснел какой-то рослый юноша, тоже испытывавший неловкость. Оказалось, что это был С. Довлатов, позднее написавший в письме из США, что любит всех покинутых, даже Е. Шварц. Поэтесса не комментирует эту фразу, но можно догадаться, что характер у нее прорезался нелегкий, общаться с ней было непросто, и даже с А. Ахматовой, которой принесла свои стихи, 15-летняя Лена умудрилась поссориться. В чем-то уступать другим, давать спуску отталкивавшему Е. Шварц не была намерена.

А урок Е. Рейна все-таки не прошел даром. У повзрослевшей Е. Шварц сексуально-эротическая сфера займет заметное место, тем самым расширяя границы дозволенного.

Начальный период своего выхода на публику (это где-то конец 1960-х – начало 1970-х) Е. Шварц иронически именует «допотопными чтениями», поскольку это были домашние чтения с ограниченным числом лиц. Принимала в них участие поэтесса неохотно, «не чаще двух раз в год». Тем не менее некоторое внимание к себе она привлекла, и с конца 1970-х андеграундные круги стали приглашать ее в Москву – «в разные салоны и мастерские». Важным для Е. Шварц оказалось знакомство с художником М. Шварцманом и его женой Ираидой. «Казалось бы, это не имеет отношения к чтениям, но на самом деле имеет, потому что я впервые увидела живой пример подлинной несуетности. А так как он был художник, устремленный в новое и запредельное, то понятие гения связалось с отстраненностью, скорее – с неучастием в чем бы то ни было, в ускользании от лишних глаз. Впрочем, и до этого я была того же романтического мнения…» [4], – так описывает Е. Шварц воздействие на нее М. Шварцмана. И. Кабаков характеризует его как изгоя даже в андеграундной среде, замкнутого на себе, выражавшего то, что возникало в глубинах его существа, превращавшего творчество в «экзистенциальное» действие, а созданную картину «в духовную, сакральную вещь» [1, с. 76], самим художником трактовавшуюся как результат неземного Откровения. Картины не подлежали продаже, хранились дома у художника, комнатка, в каковой они находились, рассматривалась как храм, их просмотр (на который допускались, в основном, немногие «посвященные») принимал форму радения. Е. Шварц было чему впечатлиться, тем более что у нее тоже имелась предрасположенность к мистическому созерцанию, проявившаяся еще в школьные годы.

Вот что рассказывает поэтесса:

«Однажды я делала уроки у окна, вдруг подняла голову и увидела голубой неземной свет, заплывший в наш двор-колодец в час между волком и собакой. В этом мерцающем свете была весть обо всем самом важном, он пронзил мое сердце, дал мне понятье об иных мирах и иной жизни. Сумерки с тех пор мое любимое время» [4]. Правда, световое метафизическое излучение, по наблюдениям И. Кабакова, присуще картинам Э. Штейнберга, а не М. Шварцмана, но судьба свела Е. Шварц с последним, и пример творчестватрансценденции, надо думать, укрепил поэтессу в собственных начинаниях. Внутрь себя Е. Шварц в «Видимой стороне жизни» тем не менее не пускает, лишь оставляет кое-где «метки», неявно сигнализирующие, откуда что взялось. Так, рассказывая о гастролях в Киеве еще в бытность ее подростком, поэтесса роняет фразу: «Там я полюбила церковь, зайдя однажды во Владимирскую» [4] – и на этом ставит точку, ничего больше не поясняя. Знакомым с творчеством Е. Шварц нетрудно домыслить, что это исток интереса Е. Шварц к духовным вопросам, к мистериальности, соединяющей религию и театральное искусство. Однако последующее восхищение М. Шварцманом с его неканонической религиозностью содержит намек и на неортодоксальную духовную ориентацию Е. Шварц (во всяком случае зрелой Е. Шварц). Проговариваемые особенности своей родословной, в которой представлены различные национально-религиозные устремления, в какой-то степени объясняют движение поэтессы к теософии и экуменизму, нацеливающих на духовное единение расколотого человечества. Так что помянутый «романтизм» действительно Е. Шварц присущ. Распространяется он именно на отношение к творчеству, во имя которого Е. Шварц готова многим жертвовать. «Поэт читающий» казался ей «всегда жрецом».

Лениному идеалу соответствовала манера выступлений молодой поэтессы. Подобно музыканту, она ставила перед собой пюпитр, но на нем находились не ноты, а отпечатанные на машинке стихи. Под музыку стиха и шло исполнение, в ходе которого у Е. Шварц было чувство, что она перевоплощается в кого-то иного (у М. Берга появляется ее уподобление пифии). Уже написанное стихотворение как бы заново переживалось в его звучащем варианте, разыгрывалось, как по нотам, превращалось в спектакль. Е. Шварц удостоверяет: «Музыка стихотворения должна владеть всем существом, струиться в крови и двигать руками, ногами. Это похоже на штейнеровскую теорию эвритмии, но трудно осуществимо на деле. У актеров не получается. И если в самом чтении поэта и есть элемент актерства, то он другой природы» [4]. Если во время выступления никто не плакал от восхищения, Е. Шварц расценивала чтения как неудачные. Немало зависело и от места выступления, отмечает она. В Москве на чтениях обычно присутствовало больше народа, но «меньше было отзывчивости» – восторженных слез. Петербургская публика казалась поэтессе «понятливее и тоньше» (хотя, возможно, просто была менее избалована, чем московская). В Москве чтения могли проводиться в роскошных квартирах представителей истеблишмента, в Петербурге все было скромнее и демократичней. Зато поклонник Е. Шварц С.Д. ЦирельСпринцсон построил у себя дома даже маленькую сцену для ее выступлений и не отпускал без охапки роз. На чужих чтениях Лена практически не бывала, вела замкнутый образ жизни. Но помнит, как замечательной манерой чтения поразил ее И. Бурихин, распевавший свои стихи «почти на церковный манер».

Первое собственно публичное (не домашнее) выступление Е. Шварц состоялось в 1974 г. в Доме писателей, куда протолкнула Лену ведущая «Вечеров поэзии и музыки» И. Малярова. Оно хорошо запомнилось поэтессе, вспоминающей: «Я пришла туда, опоздав к началу, я ведь должна была читать последней, и поразилась – перед входом стояла толпа, было не протиснуться. Кто-то спросил: «Танцы, что ли?» А из толпы ответили, что вот, мол, сегодня Леночка читает. Тут я испугалась, первый и последний раз в моей жизни, прямо задрожала вся. Народ стоял и на лестнице, и в зале «висели на люстрах», а зал был не маленький, человек на пятьсот. Я прочла ровно десять стихотворений, не поддавшись на бурные аплодисменты…» [4]. Реакция представителей власти была карательной. «…Какой-то человек кагэбешного вида встал и сказал громко: “Жаль, что не задушили мы ее вовремя”» [4], а И. Малярову выгнали с работы.

Лаконично касается Е. Шварц угроз тюрьмой, когда поэтессу стали публиковать в эмигрантских изданиях; пишет об этом сдержанно, не жалуется, а констатирует факт, хотя ясно, как подействовало это на впечатлительную натуру. Запугать ее, впрочем, не смогли; в отместку мать перестали выпускать с БДТ на гастроли за границу. За дочь та, пережившая арест родителей, волновалась страшно.

«После этого никаких публичных чтений не было вплоть до «Клуба-81», на открытии которого многие думали, что сейчас всех прямо в зале арестуют. Это было в Музее Достоевского, там же было мое первое большое чтение в двух отделениях, первое вообще в истории подобное чтение “подпольного” поэта» [4], – сообщает Е. Шварц. Позднее стало известно, что создание «Клуба-81» курировалось КГБ, чтобы «выпустить пар» у недовольных и обещаниями публикаций отвратить от заграничных изданий. Но и в этом случае о выступлении Е. Шварц не жалеет – ни малейшей пользы КГБ, считает она, чтение ею своих стихов не принесло. А вот сама поэтесса «набирала очки».

К учебе все это время Е. Шварц относилась формально. На филфаке ЛГУ ей было «скучно и противно». К тому же из-за опозданий и прогулов на нее появились карикатуры в стенгазете. Сдавать экзамены по русской литературе Д.Е. Максимову, бывшему фактически приятелем Лены, ей казалось фальшивым. Чтобы получить двойку и далее сдавать экзамен другому преподавателю, Е. Шварц прикинулась не знающей вообще ничего, устроив род балагана. Но, возможно, на уровне бессознательного, скрыто от самой себя она боялась опозориться перед Д.Е. Максимовым (считавшим Лену гением), обнаружив свои пробелы. Как бы там не было, с филфака Е. Шварц ушла, перевелась на заочное отделение Театрального института. Здесь вообще чуть ли не все преподаватели были приятелями мамы, и экзамены сдавались легко. Кроме экзамена по истории КПСС в 1965 г. Е. Шварц изложила свои оппозиционные взгляды, касающиеся событий в Чехословакии 1968 г. и отношения к роману Б. Пастернака «Доктор Живаго», получив единицу и заявление: «Больше вы у нас не учитесь» [4]. Как и в ряде других сценок, автор использует диалог, делающий воссоздаваемое особенно живым, не дающий утвердиться монотонной описательности. Друзья мамы, рассказывает Е. Шварц, историю сумели замять. Так что и Лена-студентка – благодаря среде, в которой шла ее жизнь, – оказалась везунчиком. Все ей сходило с рук, даже когда она лезла на рожон. Тем не менее, нервов столкновения инакомыслящей с системой потрепали немало (как нетрудно догадаться, пусть автор об этом и не пишет).

О своевольном характере Е. Шварц говорит и фрагмент воспоминаний «Моя милиция» (название какового иронически отсылает к поэме «Хорошо!» В. Маяковского). Рельефно воссоздан эпизод, когда отбивавшиеся от приставших нахалов подруги, и прежде всего наиболее активно действовавшая Лена, сами оказались объектом преследования милиции, не пожелавшей разобраться в сути происходящего. Смириться с самодурством Е. Шварц не пожелала, оказывая отчаянное сопротивление произволу. «Казацкий дух» в ней взбунтовался. «Милиционер (по фамилии, как потом выяснилось, Попугаев) стал сразу запихивать в машину меня, – вспоминает Е. Шварц. – Я сопротивлялась, бия уже его туфлей куда придется. Он применил боевой прием и все-таки швырнул меня в машину, едва не сломав мне ногу. Возмущение мое не имело пределов, когда меня привезли в отделение, я обзывала всех милиционеров фашистами и даже срывала с них фуражки и швыряла им в лицо. Девочки приехали со мной и пытались объяснить, что я не виновата, но офицер сказал, что пусть они идут домой, а мне год обеспечен по делу “за избиение милиционера Попугаева”» [4]. И оказавшись на нарах, Лена не пала духом, напротив, была счастлива тем, что вступила в борьбу с несправедливостью, вела себя в этой ситуации достойно: трусости строптивая Е. Шварц себе бы не простила. И опять-таки ее вызволил коллега матери – директор БДТ Нарицын. В милиции в нем увидели род начальства, способного пожаловаться «верхам», и избитую «хулиганку» отпустили.

Описан и случай, когда пьяная Лена задремала на лафете какой-то декоративной пушки в Москве. На этот раз от милиции ее отстояли друзья.

Бессознательно или намеренно в мемуарном закреплении событий своей жизни Е. Шварц следует принципу градации. Венчает повествование о бунте «казацкого духа» в поэтессе история с антисемитом-украинцем. В Лене он опознал наполовину казака, а вот девушку-еврейку своими поношениями довел до слез и заставил убежать с вечеринки. Кипящая гневом Е. Шварц схватила первое, что попалось под руки, – только что снятый с плиты чайник и плеснула кипяток на живот разлегшегося на диване антисемита. Вскочивший готов был ее убить, но этого не дали сделать присутствующие. Разъяренная Е. Шварц, как видно из описанного, продемонстрировала способность перейти всякие границы. Не отсюда ли сложившееся мнение о ней как натуре эксцентричной, от которой неизвестно чего ожидать? Показательно, что и спустя годы о сделанном Е. Шварц не жалеет, формулируя: «антисемит был наказан», тем не менее продолжая: «…но и мне было невесело» [4]. Впрямую поэтесса об этом не говорит, однако из рассказа проступает и невысказанное: и сама Е. Шварц испытала на себе (либо по отношению к матери) проявления антисемитизма, не исключает их и в последующем (отчего ей невесело), и, видимо, в душе у нее накопилось немало обиды от оскорблений, что и вызвало «взрыв», при взгляде со стороны – чрезмерный.

Многие поступки Е. Шварц, описанные в воспоминаниях, неординарны; она явно позволяла себе больше, чем другие. И в силу чувства внутренней свободы, непокорности, и в силу легкой возбудимости (знавшие Е. Шварц пишут даже о присущей ей истероидности), готовности отстоять себя и свое любой ценой. А кроме того, в мемуарах несколько раз приводятся оценки разными людьми уже молодой Е. Шварц как гения. Кажется, и саму Е. Шварц в этом убедили. И вела она себя соответственно – как человек, право имеющий действовать так, как считает нужным. Неудивительно, что личность Е. Шварц постепенно оказалась окутана слухами и легендами, отчасти мифологизировалась. Создание собственного мифа в андеграунде ценилось, являлось неотъемлемой частью жизнетворческой программы. У Е. Шварц это получилось. И хотя больше внимания поэтесса уделяет всевозможным конфликтам, возникавшим в ее жизни, характеризует себя она тем не менее как «дитя любви». Имеет в виду Е. Шварц, что рождена по любви – от ожидавшей ее рождения матери (по рассказам подруг) просто исходил свет. Но это определение может быть истолковано и метафорически – Е. Шварц была любима судьбой, от которой получила едва ли не все, чего желала. А ее любовь к театру проявилась в мистификациях и инициативе по созданию его литературного варианта – Шимпозиума, или Обезьяньего общества, правда об этом в воспоминаниях речи уже не идет. Рассказала о себе Е. Шварц, естественно, далеко не всё, и тем не менее «Видимая сторона жизни» – один из ключей к личности и творчеству незаурядной поэтессы, которой уже нет с нами.

## Литература

1. Кабаков, И. 60-е–70-е…: Записки о неофициальной жизни в Москве /

И. Кабаков. – М.: Новое лит. обозрение, 2008.

1. Самиздат Ленинграда. 1950–1980-е: Лит. энцикл. / под общ. ред. Д.Я. Северюхина. – М.: Новое лит. обозрение, 2003.
2. Ханселк, З., Северин, И. Момемуры (*перевод с английского и примечания Михаила Берга*) / З. Ханселк, И. Северин // Вестник новой литературы. 1993. № 5-6; 1994. № 7-8.
3. Шварц, Е. Видимая сторона жизни (фрагменты воспоминаний) / Е. Шварц // URL://https://magazines.gorky.media/zvezda/2000/7/vidimayastorona-zhizni.html.

1. Зато в школьном спектакле Лена всех поразила костюмом петуха, взятым для нее в аренду матерью в костюмерной Мариинского театра. [↑](#footnote-ref-1)